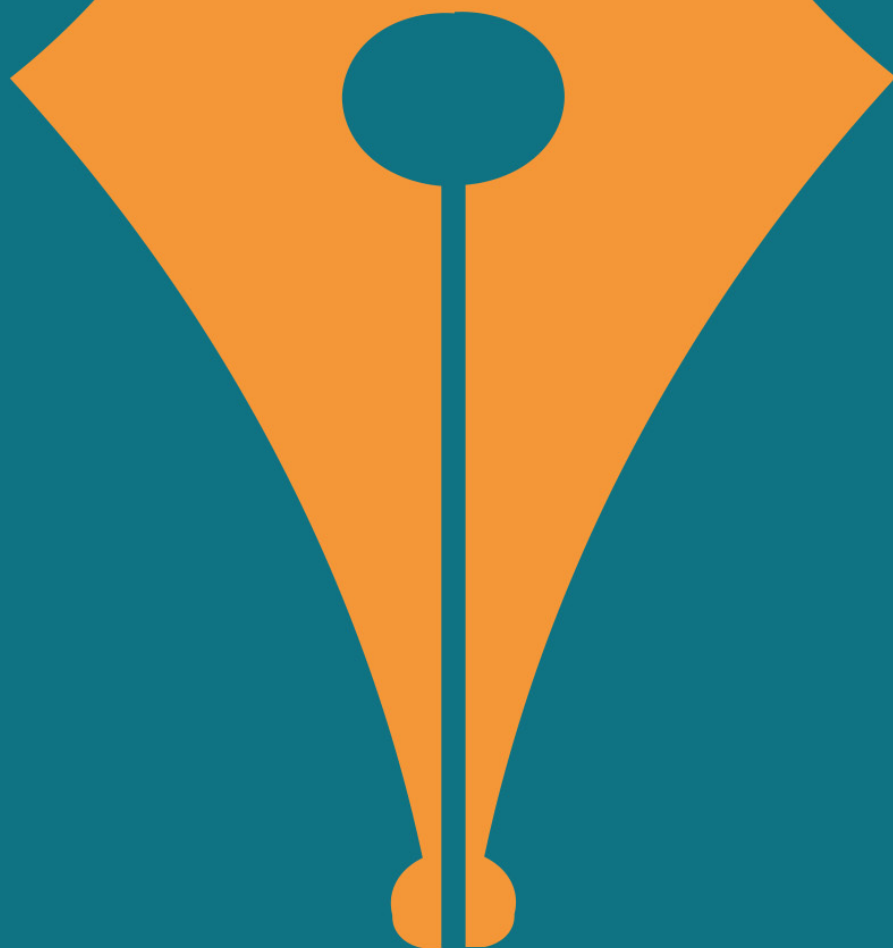


ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР



СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА
(ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)

Фазиль Искандер

**Стоянка человека
(избранные главы)**

«ЭКСМО»

Искандер Ф. А.

Стоянка человека (избранные главы) / Ф. А. Искандер —
«Эксмо»,

ISBN 978-5-699-41972-2

«... Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться. — Культура, — говорил он, — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. ...»

ISBN 978-5-699-41972-2

© Искандер Ф. А.

© Эксмо

Содержание

Знакомство с героем	5
Две женщины	10
Сердце	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Фазиль Искандер

Стоянка человека

избранные главы

Знакомство с героем

Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.

Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых рыжих мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот – глаза вроде добрые, а душа поганая.

С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.

Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелеет темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.

Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделялся сравнительно легкими ранениями.

Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней, самой летной конструкции махолета. Зная Виктора Максимовича, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.

Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. «Ну получится, ну полетит, – думал я, – что тут особенного в век космоса?»

Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес местных интеллектуалов.

Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться.

– Культура, – говорил он, – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять – то ли свет его глаз неукротим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах – следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.

На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом – договорю, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее. Я шутливо спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.

– Нет, – сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом, – неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников. Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону. Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я перевязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.

Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное – галлюцинация!

– Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? – осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.

– Нет, – сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто. Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему, мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.

Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурочек с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоящую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно.

Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.

Обычно, придя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофейен и пил кофе. Я знал, что чашечка турецкого кофе – это единственное баловство, которое

он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять, по крайней мере, лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.

Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса – это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.

Обычно, проходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пластмассу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.

Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.

В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва, и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.

Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.

Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.

Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по всему, он хорошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на «По-2» по маршруту Мухус – Псху.

Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.

Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути на Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на выючной лошади.

Так или иначе, Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.

После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.

Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто боготворил его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.

Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.

На жизнь он зарабатывал, починяя окрестным жителям все, что можно было починить, от моторов автомашин до электроутюгов. Он хорошо зарабатывал, но приходилось на всем экономить, потому что только через спекулянтов удавалось доставать материалы, необходимые для его дела.

Виктор Максимович когда-то был женат, и притом, говорят, на красавице, но я ее никогда не видел. Ко времени нашего знакомства он был один. Много лет назад они разъехались или разошлись, и она отправилась к себе в Москву.

Возможно, однажды, показав ему рукой на очередной махолет, она сказала: «Или он, или я», – и, не дожидаясь ответа, потому что ответ и так был ясен, навсегда уехала в Москву.

Виктор Максимович и сам почти каждую зиму, разобрав и сложив свой летательный аппарат, на два-три месяца уезжал в Москву. Там у него были друзья, поклонники его дела, которые, кстати, присылали ему лучшие русские книги, почтой – советские издания, с оказией – заграничные.

Встречался ли он там со своей бывшей женой, не знаю. Скорее всего нет. За все время нашего знакомства, которое длилось лет десять, он только однажды упомянул о ней во время застолья.

– А правда ли, – спросил один из застольцев у него, – что ваша жена была необыкновенной красавицей?

– Это была гремучая змея, – ответил Виктор Максимович и после небольшой паузы добавил: – Но с глушителем, что делало ее особенно опасной.

Он об этом сказал совершенно спокойно, как о давно установленном зоологическом факте. Однако в этом спокойствии было нечто такое, что исключало, для меня во всяком случае, задавать вопросы на эту тему.

В городе он всегда появлялся один или в редких случаях со своим махолетом. В таких случаях махолет был прицеплен к старенькому «Москвичу», принадлежащему одному из друзей Виктора Максимовича. Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махолет покорно следовал за ней, покачивая дрябловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна.

Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор Максимович испытывал свой аппарат. Обычно эту процессию сопровождал милицейский мотоцикл. Я сначала думал, что милиция в данном случае следит, чтобы махолет не нарушал правила уличного движения, и только позже узнал, что испытания его проходят под неизменным надзором милиции.

Мне кажется, что мечта о таком воздухоплавательном аппарате, который действовал бы за счет собственных сил летуна, у Виктора Максимовича впервые возникла в лагере. Так мне кажется, хотя сам он об этом никогда не рассказывал.

Как я уже говорил, мы с Виктором Максимовичем встречались в основном в кофейнях. Может создаться ложное впечатление, что он очень часто там бывал. Нет. Он вообще в город

приезжал очень редко, но, приехав и посетив кофейню, никуда не спешил и призывал собеседника помедлить.

– Куда торопиться, – говорил он с некоторым наивным эгоизмом, – раз я в город приехал, все равно день потеряю.

Я, слава богу, никогда его не торопил. В рассказах о жизни он любил вспоминать необычайные случаи, иногда взрывные выходы в новое сознание. Как я потом понял, эта его склонность была мистически связана с делом его жизни. Само собой разумеется, что я ни разу не усомнился в подлинности его воспоминаний.

Ничего похожего на дельфина с голубой повязкой никогда не повторялось. Да и дельфин этот, в конце концов, если подумать, только моя придирка. Как будто Виктор Максимович, помогая дельфину, обязан был проявить хороший вкус к правдоподобию и не отпускать его в море таким уж нарядным.

Разумеется, с Виктором Максимовичем мы не раз выпивали. Он любил это дело, но должен сказать, что никогда в отличие от меня по-настоящему не хмелел. Казалось, никакое вино не может дохлестнуть до той высоты опьянения, до которой опьянила его пожизненная мечта о свободном парении.

Пожалуй, хмель сказывался только в том, что он начинал читать стихи. И всегда он читал одного и того же лагерного поэта, с кем свела его судьба, а потом наглухо раскидала по разным лагерям. Несмотря на косноязычие некоторых строк, стихи этого поэта казались мне удивительными. Несколько раз я пытался их записать, но он всегда отмахивался.

– Успеешь, – говорил он, да и кофейня не слишком располагала к переписыванию стихов. Только одна первая строфа из стихотворения, пронизанного свежей тоской по далекой усадебной жизни, и осталась в памяти.

Не выбегут борзые с первым снегом
Лизать наследнику и руки и лицо.
А отчим мой, поигрывая стеклом,
С улыбкою не выйдет на крыльцо...

Две женщины

Рассказ Виктора Максимовича

– Удивительные истории бывают в жизни, – как-то начал он и на минуту замолк, глядя через дугу залива туда, где сквозь легкий туманец виднелся его поселок. Мы сидели за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра», слегка закусывая и выпивая.

– Когда в разгар коллективизации начался страшный голод на Украине, в Абхазию поваляли люди, которым удалось выбраться из родных мест. К нам в поселок попала девушка по имени Клава. Мама накормила ее, дала кое-что из одежды, и Клавушка стала приходить к нам почти каждый день. Она возилась у нас в саду, стирала, ходила на базар, готовила обед. Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, мать – в районную больницу, где работала медсестрой, и помощь Клавушки по дому была как нельзя кстати.

Клавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья оттого, что мы, наша семья, вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы. Но у меня было это счастливое чувство, которым я и сейчас дорожу. Я ведь помнил страшный в своей простоте ее рассказ о том, как вся их деревня вымерла от голода и только двум девушкам удалось чудом добраться, доползти до поезда, который увез их в Новороссийск.

Я уже знал, что и наша семья во время революции перенесла много горя, и мне казалось, что это роднит нас и связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку.

Бабка моя, казавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считала ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат и почти не скрывала этого.

Нелюдима, суровая бабушка моя, вероятно, на соседей производила впечатление какой-то дикой барыни. Обычно она почти целыми днями сидела на кухне, повесив на спинку стула палку с загнутой ручкой, раскладывала пасьянс или читала книгу, разглядывая строчки через лупу.

Иногда в хорошую погоду она, опираясь на свою палку, гуляла по нашему участку. Рядом с нами тогда строил дом один человек. Однажды он в еще не застекленное окно своего дома, обращенное на наш участок, приклеил газету, на которой была напечатана большая фотография Ленина. Разумеется, сделал он это совершенно случайно. Оказывается, бабку это вывело из себя, но нам она ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причины не мог понять. Обычно, гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой.

Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно – по кругу, а прямо, то есть ходила посмотреть, висит там все еще газета или нет. Но нам она ничего не говорила, и я это все только позже осознал.

Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимал. И вдруг, сидя на кухне, она послала меня в сад, чтобы я посмотрел, висит на окне соседа газетный лист или его уже застеклили. Про фотографию она мне ничего не сказала, и просьба ее показалась мне странной. Но когда я подошел к дому соседа и увидел фотографию Ленина, я понял, что она имела в виду. Я вошел на кухню и сказал бабушке, что газета по-прежнему висит на окне. Она, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс и ничего мне не ответила. Вскоре я об этом забыл, но дня через два бабушка опять послала меня посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Я посмотрел и сказал, что газета по-прежнему висит. Она опять ничего мне не ответила. На этот раз она читала книгу, и я теперь повнимательней присмотрелся к ней и

заметил, что лупа, которую она держала над книгой, так и ходит ходуном. Обычно рука ее, сжимавшая лупу, никогда не дрожала.

На следующий день она меня опять попросила посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Про фотографию она мне и теперь ничего не говорила, хотя я, конечно, знал, что она имела в виду, и она, конечно, знала, что я это знаю. Безусловно, у родителей был с ней тайный уговор ни о чем подобном со мной не говорить, и она придерживалась его. Но когда я и на этот раз ей сказал, что окно не застеклили, она не выдержала.

– Господи! – воскликнула она, с размаху захлопнув книгу, лежавшую перед ней. – За что такое наказание?! Ни молиться, ни читать не могу!

В тот же вечер сосед наш подозвал отца к забору между нашими участками и, смеясь, рассказал, что наша бабушка попросила его сменить газету на окне, что он и сделал. Мама была в ужасе, но сосед оказался порядочным человеком, и просьба бабушки никаких последствий не имела.

К бабушке у нас в семье было особое отношение. Хотя от меня многое скрывали, но я знал, что двое сыновей бабушки, братья отца, погибли в Гражданскую войну. Бабушка не то чтобы тяжело пережила гибель своих сыновей, она, надев вечный траур, добровольно превратила себя в живую могилу своих детей. Мама не смела ей ни в чем возразить, а отец всегда относился к ней с подчеркнутым вниманием.

Меня всегда забавляло, что Клавушка ничего этого не замечала, и, хотя бабушка часто поварчивала на нее, она к ней относилась точно так же, как и к моим родителям. Никакой повышенной почтительности. И мне это нравилось. Я это интуитивно воспринимал как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами.

Мне тогда было лет двенадцать, я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змея, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особостью нашей судьбы.

Я верил, что власть теперь у народа, и считал это вполне справедливым. И в то же время корбила грубость, с которой учителя всех бывших помещиков (с капиталистами я легко смирялся) называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие и многие приятели моих родителей не такие, и мне обидно было за них. С другой стороны, в школе меня никто не угнетал, не интересовался моим происхождением, ко мне относились, как ко всем остальным детям, и я это ценил. Хотя рана уже была в том, что я это ценил.

Разумеется, родители от меня старались скрыть все, что можно было скрыть, но сам страх перед властью они, конечно, скрыть не могли. И этот страх мне всегда казался комически преувеличенным, и в то же время сам я, с детства склонный к беспредельной искренности, все-таки твердо знал, что никому нельзя говорить о том, на чьей стороне погибли братья отца. И вопреки тому, что мне говорили в школе, и вопреки грустным воспоминаниям родителей о старой жизни я носил в душе тайную мечту, что две эти жизни можно склеить, старую и новую, что родители мои будут счастливы в этой жизни и сами по себе. Было тоскливо думать, что они живут для меня. Мне все казалось, что обе стороны чего-то недопонимают, но пройдет немного времени, и все будет хорошо.

И вот появилась у нас в доме Клавушка, девушка из народа, и оттого, что она говорила полуукраинским языком, она казалась мне особенно подлинной в своей народности.

Конечно, я привязался к веселой ребячливой Клавушке и сам по себе. Этому, наверное, способствовало и то, что у меня не было ни братьев, ни сестер. Но и та заветная мысль была, что все склеится и вот уже все склеивается через Клавушку, девушку из народа, которому принадлежит власть. Почему девушка из народа, которому принадлежит власть, чуть не умерла с голоду при своей власти и почему здесь не мы кормимся при ней, а она кормится при нас, мне как-то не приходило в голову. Вернее, мне это казалось случайными частностями.

Как ребенок, никогда не знавший родного отца, привязывается к новому мужу матери, разумеется, если он не изверг, так и я, сиротски лишенный своего народа и, видимо, неосознанно тосковавший по нему, вдруг приобрел его в Клавушке.

Я как бы весь народ получил в свое личное пользование, и мне с ним было хорошо, и народу – Клавушке – было с нами весело. А говорили – они нас ненавидят. Вот уж глупость!

Конечно, Клавушка была старательной, но довольно бестолковой хозяйкой. Так, однажды она полдня мыла котел для варки мамалыги, пытаясь соскрести с его наружной стороны толстый слой нагара, который никто не соскребает. Соседи, узнав об этом, долго смеялись ее наивности.

Первый раз услышав рожок керосинщика и заметив, что соседи с бидонами побежали за керосином, Клавушка схватила ведро для питьевой воды и побежала в очередь. К счастью, соседка, узнав ведро, отослала ее домой за надлежащей посудой. В другой раз она забыла, где расположена сапожная мастерская, куда она сдала всю нашу обувь, и мы с ней полдня прорыскали по городу, пока ее не нашли. Впрочем, в те годы было столько сапожных мастерских, что запутаться было нетрудно. В те годы люди в основном не покупали обувь, а чинили ее, потому что покупать было негде.

Одним словом, несмотря на эти неловкости, мы все любили Клавушку за простодушие, преданность и веселый нрав. А я даже и за все эти ее неловкости любил. Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе, но и теперь после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед.

К этому времени на нашем участке уже плодоносили фрукты. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда и в Абхазии было трудно, отец получал в деревне, где он работал, кукурузу. Мы научились готовить мамалыгу и даже полюбили ее. Одним словом, жили по тем временам вполне прилично.

Милая Клава считала нас богачами и не могла нарадоваться на наше богатство. Однажды она привела к нам какую-то землячку, видно, только приехавшую с Украины. Бабушка и я в это время были на кухне. Я читал книгу, а бабушка, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс.

Желая похвастаться нашим богатством, Клавушка влетела на кухню, таща за руку робеющую землячку, одетую, как побирюшка.

Клавушка отмахнула крышку ларя, где у нас была насыпана кукуруза, вынула пригоршню и, ссыпая ее назад, воскликнула:

– Подывись, Любо, це кукурудза!

Бабка, искоса следившая за ней, буркнула Клаве: «Прочь!» Но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где у нас хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала ссыпать ее назад, приговаривая:

– А це фасоль. Абхазы дуже люблять.

– Прочь, говорю! – повторила бабка.

Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, подошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала:

– А це мэд!

Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом и протянула его своей землячке. Не успела та дотянуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость!

Клавушка вскрикнула и побежала из кухни, завывая и тряся рукой, как собака перебитой лапой. Землячка ее затрусила вслед. На крики из комнаты выскочила мама и, поняв, что произошло что-то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки и с трудом вернула домой.

Я оцепенел от возмущения, душившего мое детское горло. Возмущение это было особенно мучительно, потому что я не мог его выплеснуть, не мог ничего сказать бабке. Смутно вспоминая все, что писалось в школьных учебниках о дореволюционном отношении помещиков к простым людям, чему я раньше не очень верил, я сейчас отчаянно повторял про себя: «Правильно! Правильно! Все правильно с вами сделали!»

Мама перевязала Клаве руку. Постепенно она кое-как успокоила ее, и потом, когда она уходила вместе со своей землячкой, мать дала им литровую банку меда и мешочек кукурузной муки килограммов на пять.

Мама всегда была милосердной женщиной, да и Клавушку любила, но на этот раз она еще испугалась, что Клавушка пожалуется на нас. Страх за наше происхождение всегда незримо витал над родителями. Именно по этой причине меня не обучили ни одному языку, хотя отец в совершенстве знал французский и немецкий, а мать говорила по-французски. Они не хотели, чтобы я в этом отношении отличался от остальных школьников, хотя отец придирчиво следил за моими остальными занятиями. Так, он замучил меня, заставляя делать бесконечные гербарии флоры Кавказа.

То, что я тогда увидел на кухне, навсегда потрясло мою детскую душу. И сейчас перед глазами у меня стоит эта картина: Клавушка в пестром ситцевом платье, подаренном ей мамой, выбегает из кухни, завывая от боли и трясая рукой, как собака перебитой лапой. И позже я тысячи раз перебирал в памяти детали этой картины, находя в ней все новые и новые оттенки жестокости. И мамино платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее, Клавушку, нарочно приманивали, кормили, дарили одежду, чтобы добиться ее полной доверчивости, а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка, не жалуясь, не защищаясь, а только завывая, побежала из нашего дома в сторону калитки, было разрывающее сердце простодушие животного, которое бежит оттуда, где ему делают больно, туда, где, оно надеется, боли не будет.

Не правда ли, странно мы устроены? Человек, которому причиняют слишком большую боль, делается похожим на животное, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. И точно так же животное, которому причиняют слишком большую боль, начинает напоминать нам человека, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость.

Мать ничего не могла сказать бабушке, но, конечно, вечером все рассказала отцу. Между отцом и бабушкой был крупный разговор. Чтобы я ничего не понимал, говорили по-французски.

– Оставь, пожалуйста, – вдруг перешла бабушка на русский, – они изгадили Россию, а теперь сюда понаехали, голодранцы!

Отец опять что-то терпеливо говорил ей по-французски, и вдруг бабка стукнула палкой об пол и крикнула по-русски:

– Если б вы были настоящими мужчинами, с Россией не случилось бы то, что случилось!

Стало ужасно тихо. Мама, прижав ладони к щекам, умоляюще смотрела на отца широко распахнутыми глазами. Отец неподвижно стоял перед бабушкой. Смуглота его загорелого лица вдруг стала особенно заметной.

– Мама, – тихо сказал он по-русски, – ты забыла, где твои сыновья...

– Мои мальчики, – гордо начала бабушка и вдруг поперхнулась, затряслась, заикала и все-таки с каким-то жутким упорством продолжала пытаться что-то выговорить и даже махнула рукой, как бы досадуя на мгновенную слабость и давая знать, что она сейчас справится с собой и договорит то, что хотела сказать, но, так и не справившись с душащими ее спазмами, уронила палку и запрокинулась на спинку стула.

– Валерьянку! – крикнул отец, хотя мать уже бежала за ней. Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча, взглядом вытолкнул меня за дверь. Я вышел.

Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. И я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел, и сейчас хорошо помнил, что днем я ее возненавидел за Клаву, и не понимал, куда теперь делась эта ненависть, и с какой-то неизбывной тоской догадался, что то далекое, а для меня непомерно далекое, случившееся с ее сыновьями, все время при ней и никогда никуда от нее не уходило и никогда не уйдет.

Больше Клавушка у нас не появлялась ни разу. С месяц я ее иногда видел в школе, сначала с повязкой на руке, а потом уже без повязки. Нам обоим было стыдно встречаться, и мы оба делали вид, что не замечаем друг друга. Но при этом, когда мы встречались, я смотрел перед собой, а она всегда куда-то отворачивалась, и я уже тогда понимал, что это она делает от большей душевной тонкости, что ей стыдней, чем мне. Но я все надеялся на какой-то случай, который вдруг нас примирит, и она поймет, что я ее по-прежнему люблю, и мама ее любит, и папа ее любит... Но случай так и не представился, а Клавушка куда-то исчезла из школы, и я ее никогда больше не видел.

Может, именно потому, что Клавушка исчезла навсегда, а бабушка продолжала быть рядом – она умерла перед самой войной, – я снова привык к ее замкнутому, суровому облику. А Клава, бегущая, завывая от боли и тряся рукой, как собачонка перебитой лапой, навсегда осталась в моей душе.

И осталась долгая, на всю школу мальчишеская мечта встретить ее однажды и сделать для нее что-нибудь необыкновенное, прекрасное: может, спасти ее от смертельного ножа какого-то хулигана, может, вытащить из моря тонущего ребенка, который вдруг окажется ее сыном, словом, сделать что-нибудь такое, чтобы она после этого всегда помнила о нас и нашем доме только хорошее.

И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в ста километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшие хлеба, где развелось за время войны множество зайцев. Свежая зайчатина хорошо скрашивала наш казенный солдатский стол.

В тот день я убил четырех зайцев. Поблизости от нашей базы ютилось в землянке несколько семей, которым мы помогали чем придется. На обратном пути после охоты я завернул в одну землянку, где жила женщина с двумя детьми. С этой женщиной я договорился, что она сошьет мне и двум моим друзьям плавки. Материал для шитья я ей принес в предыдущий приход и тогда же договорился, что сегодня зайду к ней.

Когда я вошел в землянку, рядом с хозяйкой сидела какая-то женщина. Я на нее не обратил внимания. Вынув из сумки одного из убитых зайцев, я положил его на стол. Хозяйка ужасно обрадовалась моему гостинцу и попросила немного подождать, она кончала работу.

Я присел и разговорился с гостьей. Оказывается, она жила в трех километрах отсюда. Там тоже несколько семей погорельцев ютилось в землянках. Узнав, что я из Абхазии, она сказала, что и она долгое время там жила.

– Где же вы жили? – спросил я.

– Я по вербовке работала пять лет в шахтах Ткварчели, – сказала она, – а до этого жила под Мухусом в поселке...

Она назвала наш поселок.

– Карташовых не знали? – спросил я без особого интереса.

– Как же не знала! – воскликнула она, взглядываясь в меня. – Я докторше помогала по хозяйству...

– Клавушка? – спросил я, взглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо и уже с трудом узнавая его и только никак не понимая, куда делся ее украинский акцент. Ах да, она ведь столько лет провела с шахтерами!

– Витько... Виктор Максимович, – проговорила она и заплакала.

Она поплакала немного и постепенно успокоилась. Я подумал, сколько раз за всю свою юность я вспоминал тот случай с бабушкой, сколько раз я мечтал встретиться с Клавой, сделать для нее что-нибудь прекрасное и выпросить у нее прощение.

Не то чтобы этого чувства совсем не было, но куда делась его прежняя острота? Тогда я этого не мог понять, но все было просто: война. Я уже потерял нескольких друзей-фронтовиков, видел столько крови, что тот далекий случай, мучивший меня, школьника, теперь казался мне не таким уж значительным.

Но до войны я так часто об этом думал, так часто мечтал о встрече с Клавой, что и теперь по инерции заговорил об этом.

– Клавушка, – сказал я, – прости бабку за ее выходку. Тем более она уже умерла.

– Что вы, что вы! – вскинулась Клавушка. – Я же сама была виноватая! Глупая была! Надо же, мед руками цапать!

Мы поговорили о житье-бытье. Клавушка в Ткварчели вышла замуж за шахтера, а потом через пять лет они переехали сюда, на родину к мужу. Сейчас муж у нее на фронте, деревня сгорела, и она с тремя детьми живет в такой же землянке, как эта.

Господи, подумал я, сколько лет прошло, и опять голод, опять запустенье! Я отдал Клавушке трех оставшихся зайцев, взял плавки и, попрощавшись с женщинами, ушел.

Когда-то в юности я мечтал сделать для Клавушки что-нибудь прекрасное и вот отделался тремя зайцами. Впрочем, может, для ее голодных детей это и было тогда самым прекрасным...

Вот такие встречи бывают иногда в жизни... Вскоре мы перебазировались на другой аэродром, и я ее больше никогда не видел.

Сердце

В верхнем ярусе ресторана «Амра» сейчас не только пьют кофе, закусывают, потягивают вино, но и довольно много играют в шахматы. Блестящие успехи Ноны Гаприндашвили, а за ней и целого созвездия грузинских шахматисток вызвали у мужчин, жителей Грузии и Абхазии, обостренный интерес к этой древней игре.

Во всяком случае, добрая часть времени, которую они раньше тратили на застолья и нарды, теперь перепадает шахматам. Возможно, это некоторым образом попытка, впрочем, достаточно обреченная, догнать женщин и поставить их на место. Если не на место вообще, то хотя бы на прежнее место. Тем не менее догнать женщин в этом деле мужчинам пока не удастся и, судя по всему, навряд ли удастся. Я не хочу сказать, что слишком много выпито за прошедшие века, я просто хочу напомнить, что нет обнадеживающих фактов. Однако мужчины стараются. В шахматы сейчас играют много и шумно, в том числе и в верхнем ярусе ресторана «Амра».

Здесь и мы с Виктором Максимовичем иногда усаживались за столик с освобожденной шахматной доской. Играли мы примерно на одном уровне. Виктор Максимович в отличие от некоторых любителей и даже, к сожалению, великих гроссмейстеров (вот тема трагикомического разрыва между изощренностью интеллекта и вандализмом этического состояния человека), так вот, Виктор Максимович в отличие от них был в игре абсолютно корректен. Это тем более надо ценить, потому что он ужасно, просто по-мальчишески, не любил проигрывать.

Однажды во время игры над его королем нависла матовая сеть. Я уютно задумался, чтобы в этих условиях не поспешить, не сделать глупого хода и не дать ему выскочить из этой сети. Но Виктор Максимович до того не любил проигрывать, что во время всей затянувшейся паузы нервы у него не выдержали, он схватил мою фигуру и, сделав несколько взаимных ходов, провозгласил:

– Мат!

Таким образом, поставив мат самому себе, но сделав это своими руками, он как бы отчасти поставил его мне. Вот до чего он не любил проигрывать!

Но на этот раз дело шло к его выигрышу. Был жаркий солнечный день, мы сидели за столиком под тентом, с моря навевал легкий бриз, и предстоящий проигрыш не казался мне катастрофой.

Рядом за соседним столиком столпились наиболее заядлые шахматисты. Играли на высадку, и те, что дожидались своей очереди, иронизировали над ходами тех, что играли, давали советы, острили, смеялись. Среди них выделялся самый азартный игрок с нехитрым прозвищем Турок, потому что он и на самом деле был турком.

Виктор Максимович довел партию до победного конца, я не настаивал на возобновлении игры, и он, откинувшись на стуле, вознаграждал меня таким рассказом:

– Мне в жизни нередко приходилось попадать в условия, когда страх смерти заполнял мое существо, и мне всегда или почти всегда удавалось его преодолеть, потому что я был подготовлен к нему. С самой юности я закалял себя в этом, я заставлял себя привыкать к мысли, что в известных обстоятельствах необходимо принимать вариант смерти, и это многое определяло. Великой максимой моей юности было не дать себя унижить ни перед кем и не дать никого унижить в моем присутствии.

И все-таки настоящий, всепоглощающий страх я испытал не на фронте, не в тюрьме, а здесь, в мирной жизни. Лет десять назад я, как и многие, увлекся подводной охотой. Я сделал себе ружье с таким мощным боем, какого я не видел не только у ружей нашего отечественного, но и иностранного производства. У меня было отличное дыхание, что неудивительно: я вырос у моря, с детства много нырял, позже занимался боксом, легкой атлетикой. Три-четыре минуты

я свободно мог провести под водой. Было большой редкостью, чтобы я вернулся с охоты без рыбы.

Однажды, нырнув возле подводной скалы, я заметил великолепного лобана. Пошевеливая плавниками, он стоял в нескольких сантиметрах от нее. Я осторожно подплыл поближе, прицелился и нажал на спусковой крючок.

Обычно после выстрела ныряльщик выплывает на поверхность воды, и, если стрела пронзила рыбу, он подтягивает ее за шнур, на котором она висит, сдергивает ее, подвешивает к поясу и перезаряжает ружье. Если ныряльщик не попал в рыбу или она каким-то образом сошла со стрелы, он снова заряжает ружье и ныряет. Стрела на крепком капроновом шнуре привязана к пояснице.

На этот раз я не попал в лобана и стал выныривать. До поверхности воды оставалось примерно полметра, когда я вдруг почувствовал, что шнур, к которому была привязана стрела, натянулся и не пускает меня дальше. Я понял, что стрела плотно вклинилась в расщелину скалы и не выходит оттуда. Я попытался нащупать на боку нож и вспомнил, что забыл его дома. Страх стал овладевать мной. Я попытался разорвать шнур, но он не поддавался. Шнур был очень крепким, и в воде без точки опоры его невозможно было разорвать.

И тут я почувствовал ужас. Через несколько секунд я потеряю сознание, а еще через несколько минут мой труп будет колыхаться в полуметре от поверхности воды. И, разумеется, никто не узнает, куда я делся. Я взглянул наверх и увидел сквозь небольшую толщу воды ослепительно расплывающееся золото солнечного диска. Инстинктивно вытянул руку над водой, словно пытаясь ею зацепиться за воздух и вытащить себя. Но это было невозможно.

И тут, уже почти теряя сознание, я попытался использовать последний шанс. Надо донырнуть до скалы, упереться в нее ногами и изо всех сил дернуть шнур. Если он оборвется, я спасен, если нет – каюк. Легко сказать! Я уже почти задыхаюсь и все-таки ныряю с единственной мыслью не потерять сознание, пока не упрусь ногами в скалу. Только держась на этой мысли, и только на ней, я, перебирая в руках шнур, дошел до скалы, уперся в нее ногами, изо всех сил дернул шнур и потерял сознание.

Не знаю, через сколько секунд или минут я пришел в себя на поверхности воды. Состояние было такое, какое бывает, когда просыпаешься утром после тяжелого приступа малярии: тело раздавлено. До берега было метров пятьсот. Кое-как доплыл. И впервые в жизни, плывя к берегу, я боялся утонуть от слабости, и море, любимое с детства море, впервые внушало мне отвращение, словно я плыл в теплом грязном болоте.

На берегу я выкашлял из легких воду и вытравил ее из желудка. Отлежался и поплелся домой. Охотился я у себя в заливе напротив дома.

Дней десять я чувствовал себя все еще плохо, а потом оклемался. Однажды вхожу в море и плыву. Отплыв от берега метров на пятнадцать-двадцать, вдруг чувствую: сердце делает какой-то сдвоенный удар и останавливается. Может, на две-три секунды – не знаю. Но ощущение очень неприятное.

Тут я вспомнил, что накануне выпил, и решил, что дело в этом. Никогда раньше я не знал никаких сердечных явлений, это было впервые. Я снова поплыл. И вдруг опять сдвоенный удар и ощущение, что сердце остановилось и я сейчас захлебнусь. Боясь потревожить его, я осторожно поплыл к берегу.

Утром на следующий день лезу в воду, прислушиваясь к работе своего сердца. Вроде все в порядке. Да, думаю, возраст дает о себе знать, и уже сердце после выпивки начинает барахлить. Только я это подумал – и снова повторение вчерашнего. Я страшно разозлился на свое сердце и решил, ни на что не обращая внимания, плыть и плыть. И снова то же самое. Я плыву. И опять то же самое! И тут я не выдержал. Главное, ощущение такое, что сердце только случайно остановилось на эти две-три секунды, а может остановиться и на больший срок. И тогда конец.

И все-таки я не так быстро сдался. Я обратил внимание, что эти перебои в сердце настигают меня, когда я отплыву от берега уже метров на двадцать-тридцать. Может, это какой-то неосознанный страх глубины? Я нарочно выхожу в море на лодке, прыгаю за борт, плаваю, чтобы преодолеть страх глубины, если это именно он. Но и там меня каждый раз настигает это странное явление. Последний раз я с трудом влез в лодку, так меня напугали эти перебои и остановки сердца.

Одним словом, иду к врачу. Терапевт выслушивает меня, отправляет на электрокардиограмму и в конце концов говорит мне:

– Сердце у вас, как у двадцатилетнего юноши. Я ничего не понимаю, вам надо обратиться к психиатру.

Меня знакомят с самым модным в Мухусе психиатром. Во время беседы он выслушивает меня, наклонив голову сердитым петушком, и, что я ни скажу, все ему не так.

Перебивая меня, сыплет какими-то непонятными терминами, а что со мной случилось, объяснить не может. Выслушав все, что я рассказал про подводную охоту и про плавание, он, словно разоблачив меня в сокрытии самого главного, переводит разговор на мой махолет.

Кто-то ему, видно, сказал, что я занимаюсь сооружением летательного аппарата, движущегося на мускульной силе пилота. Спрашивает, сколько времени я им занимаюсь, рекомендует вспомнить, не явился ли мне образ махолета после фронтовой контузии, какие сверхцели я себе ставлю, какие травмы получал во время падения и так далее. Я спокойно пытаюсь ему объяснить, что махолетом я занимаюсь давно и никакого отношения он не имеет к тому, что случилось со мной в море.

– Мне лучше знать, – обрывает он меня, – что к чему имеет отношение.

И опять, петушком наклонив голову, как-то очень лично сердится на меня и предупреждает, что, если я не перестану заниматься махолетом, во мне будет неуклонно возрастать ощущение дискомфорта сначала в море (уже начинается), потом на суше, а потом, видимо, окончательно рехнувшись, я провозглашу воздух единственной средой обитания.

Я, может, слегка утрирую, но, честное слово, передо мной был полный псих. Когда же я, отвечая на его полувопрос-полуутверждение, сказал, что у меня в родне не было ненормальных людей, он просто взвился.

– Да вы что, лечиться ко мне пришли или все отрицать! – воскликнул он.

Одним словом, я еле унес ноги от этого поврежденного то ли наукой, то ли пациентами человека. Но что делать? Я еще несколько раз пытался плавать, но все повторялось. И тогда я пришел к печальному выводу, что придется отказаться от плавания и подводной охоты. Это шаги старости, пытался я себя утешить, к разным людям она приходит по-разному.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.